

# ГОЛОД ВНИМАНИЯ



АЛЕКСАНДР КОСОВСКИЙ

18+

Косовский Александр  
**ГОЛОД ВНИМАНИЯ**

«Автор»

2026

**Александр К. А.**

ГОЛОД ВНИМАНИЯ / К. А. Александр — «Автор», 2026

ОНИ ПРИХОДЯТ НЕ ЗА ПЛОТЬЮ. ОНИ ПРИХОДЯТ ЗА ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЕТ ВАС ЧЕЛОВЕКОМ. Вы когда-нибудь чувствовали, что за вашей спиной кто-то есть? Что дом, в котором вы живёте, дышит? Что собственная рука перестала вас слушаться? В этом сборнике реальность трещит по швам. Патологоанатом вскрывает труп — и обнаруживает, что внутренности переставлены зеркально, а на шее — свежий шов, которого не было. Солдат возвращается с войны, получает от Бабы Яги клубок нити — и отправляется в лес, из которого не возвращаются. Священник находит в болоте древнюю икону. Лик на ней проступает по ночам — и оказывается, что это икона Иуды

«Голод внимания» — это не попытка напугать. Это попытка вспомнить, чего мы боимся на самом деле. Одиночества. Заброшенности. Предательства. Тишины в палате, где никто не придёт. Смерти, которая не приносит покоя, а только растягивает последний миг в вечность. В традициях Стивена Кинга, Говарда Лавкрафта и Томаса Лиготти — с собственным, узнаваемым голосом.

© Александр К. А., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

ГОЛОД ВНИМАНИЯ	5
ПИРОГ С ПОГОСТА	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

# Косовский Александр ГОЛОД ВНИМАНИЯ

## ГОЛОД ВНИМАНИЯ

Документальные подтверждения из Центров по контролю заболеваний всегда безнадежно отстают от того, что шепчут санитары в прокуренных ординаторских и чего боятся сиделки, меняющие утки лежачим старикам. Ещё до первых официальных сводок о «Синдроме Мнемотической Передачи», до армейских кордонов, до комендантского часа и роликов с вертолётов, разбрасывающих листовки «НЕ СЛУШАЙТЕ ИХ», правду знали в хосписах. Правда была проста, как предсмертный хрип: брошенные старики перестали уходить тихо.

Первое имя стёрлось из отчётов, но среди патологоанатомов, которые ещё не спились, не застрелились и не обратились, циркулирует история Алевтины Игнатьевны — восьмидесяти четырёх лет, пациентки отделения паллиативной помощи в подмосковном пансионате «Тихие дубы». Она поступила туда пять лет назад. За пять лет её единственный сын, дальнбойщик, позвонил трижды: в первый раз — сообщить, что он в рейсе где-то под Челябинском, во второй — сказать, что разводится, и в третий — поздравить с Восьмым марта коротким, скачанным из интернета роликом с тюльпанами и надписью «Счастья, здоровья». Алевтина Игнатьевна смотрела этот ролик сорок восемь раз подряд, держа телефон в дрожащих, испещрённых старческими пигментными пятнами руках, пока экран не погас. Она ждала каждого звонка, как ждут приговора, хотя приговор уже был приведён в исполнение в тот день, когда сын сдал её сюда, подписав бумаги и не глядя ей в глаза. Она часами сидела у окна, глядя на пустую подъездную аллею, усыпанную прелыми листьями, и перебирала чётки, подаренные соседкой по палате, которая умерла через две недели от рака поджелудочной. Когда та умирала — с хрипом, с пеной в уголках рта, с запахом ацетона из разлагающегося нутра, — Алевтина держала её за руку. Не из милосердия, а из жгучей, невыносимой потребности, чтобы хоть кто-то — неважно, кто — почувствовал чужое тепло в момент перехода. Она знала, каково это: уходить, когда никто не смотрит.

Она умерла сама через полгода, январской ночью, когда отопление работало вполсилы, а пар из её последнего выдоха застыл на оконном стекле причудливым ледяным цветком. Умерла тихо, без агонии, как учат в учебниках. Санитар на утреннем обходе хмыкнул, накрыл лицо простынёй, придавив края, чтобы подбородок не отвисал, и вызвал транспорт в морг. Тело пролежало в стальном шкафу при температуре плюс четыре по Цельсию почти восемнадцать часов. А потом, когда часы на стене приёмного покоя показали 3:14 ночи — час наивысшей смертности, час, когда даже здоровые люди просыпаются без причины с колотящимся сердцем и привкусом ржавчины на языке, — Алевтина Игнатьевна открыла глаза.

Те, кто видел потом записи камер наблюдения, описывают это движение не как пробуждение, а как включение механизма. Её веки, серые и тонкие, как лепестки увядших роз, оставленных на подоконнике слишком долго, разошлись не синхронно: сначала левое — с влажным, липким звуком, похожим на отлипание сырой промокашки от стекла, — потом правое, с едва слышным треском разрывающихся капилляров. За веками не было взгляда. То, что смотрело на мир через мутные, подёрнутые перламутровой белесой плёнкой зрачки, было не сознанием — сознание осталось позади, в момент клинической смерти, — а его обугленным, мумифицированным слепком, радиоактивным изотопом личности, который продолжал излучать боль и память в пустоту.

Она не застонала. Не забила в конвульсиях. Алевтина Игнатьевна просто начала шевелить губами. Челюсть, которую никто не потрудился подвязать, отвисла, и из полуоткрытого рта вывалился язык — раздутый, покрытый белым творожистым налётом, с мелкими трещинами, похожими на русла высохших рек. В глубине трещин копошилось что-то микроскопическое — не черви, нет, а какая-то белёсая взвесь, похожая на ожившую слизь. Язык извивался во рту, как потревоженный слизень, пытаясь принять артикуляционную форму, необходимую для речи. Губы беззвучно вылепливали слова. Воздух, который проходил через гниющие голосовые связки, порождал не голос, а низкочастотный, вибрирующий гул, который ощущался не ушами, а костями черепа, — как будто кто-то водил смычком по твоему позвоночнику изнутри.

В ту ночь в морге дежурил Виталий. Тучный, лысеющий мужчина сорока восьми лет, с красными прожилками на носу и вечно влажными, пухлыми губами, которые он то и дело облизывал кончиком языка. Он пошёл работать в морг, потому что «клиенты не хамят и не капризничают». Его смена была спокойной: он пил растворимый кофе из пластикового стаканчика, макал туда дешёвое овсяное печенье, которое крошилось и превращалось в бурю кашицу на дне, и смотрел повторы юмористического шоу на маленьком, заляпанном жиром телевизоре. Закадровый смех звенел в пустом помещении жутковатым эхом, но Виталий привык. Ему нравилась тишина. Точнее, ему нравилось, что никто не требует от него слов. Он терпеть не мог болтливых людей. Он сам давно ни с кем не говорил по душам: жена ушла, забрав телевизор и сервиз, дочь вычеркнула его из жизни после забытого выпускного. Раз в год он посылал ей открытку на день рождения — без обратного адреса, — и никогда не получал ответа. Виталий думал, что это нормально. Так живут все.

Когда из холодильной камеры донёсся звук, он сначала списал его на дребезжание компрессора. Но звук не был механическим: он был ритмичным, почти музыкальным, похожим на далёкий плач новорождённого, доносящийся через толстые больничные стены. Виталий выключил звук телевизора и прислушался. Его лоб покрылся холодной испариной, и капли пота, смешиваясь с кожным жиром, потекли по переносице. Пальцы, державшие стаканчик, задрожали, и горячий кофе пролился на брюки — но он не почувствовал ожога. Звук проникал прямо в мозг, минуя стадию осознанного слуха, добираясь до той древней, рептильной части сознания, которая отвечает за страх темноты и безмолвия. Это был Шепот.

Виталий подошёл к двери холодильной камеры. Его тапочки оставляли влажные следы на кафельном полу — он потел от напряжения, хотя в помещении было холодно. Он открыл тяжёлую стальную дверь, обитую чёрным резиновым уплотнителем, и внутри пахло не холодом и формалином, а тёплым, приторным запахом гниющих в вазе цветов, смешанным с ароматом старых, слежавшихся в сундуке платьев. Это был запах дома Алевтины Игнатьевны — дома, которого больше не существовало, который снесли три года назад, — но запах сохранился в ней, как сохраняется запах нафталина в складках шерстяного пальто.

Алевтина стояла посреди камеры, покачиваясь с пятки на носок. Её больничная рубашка, завязанная на спине рваными тесёмками, сползла с одного плеча, обнажая ключицу, под которой кожа лопнула, и в разрыве виднелась желтоватая подкожно-жировая клетчатка, похожая на воск оплывшей свечи. Из разрыва сочилась не кровь, а мутная, маслянистая жидкость — лимфа, смешанная с продуктами разложения, — и капала на пол с ритмичностью метронома: кап, кап, кап. Она не смотрела на Виталия. Её бельмастые глаза были устремлены в угол, где сплетались трубы охлаждения. Но когда санитар сделал шаг вперёд, её голова дёрнулась на негнущейся шее — раздался влажный хруст шейных позвонков, — и ухо, левое ухо с обвисшей мочкой, в которой всё ещё болталась дешёвая серёжка-гвоздик, развернулось в его сторону. Она слушала.

А потом начался Рассказ. Не слова — нет, слова были бы слишком милосердны. Это была телепатическая инъекция, грубое вторжение в сознание, похожее на то, как стальной клинок входит в мягкую глину. В мозг Виталия вонзилось воспоминание о том, как маленькая Аля,

босая, в ситцевом платье, бежала по залитому солнцем лугу, и одуванчики хлестали её по щиколоткам, оставляя горький, липкий след. Запах нагретой солнцем полыни был настолько реален, что у Виталия закружилась голова и перехватило дыхание. Он чувствовал, как трава щекочет его собственные ноги, хотя стоял на холодном кафельном полу. Он чувствовал, как пахнет земляникой воздух, и вместе с этим чувствовал, как его собственные воспоминания тускнеют и выцветают. Первая учительница — толстая женщина в сером костюме, — её лицо потеряло глаза, потом нос, потом рот, а потом рассыпалось в серый прах, который осыпался в пустоту.

Чем глубже он погружался в чужое прошлое, тем быстрее разлагалось его собственное тело. Процесс не был болезненным в привычном смысле. Боль — это сигнал опасности для живого. Здесь же не было опасности для жизни, потому что жизни не оставалось. Это была агония наоборот — не переход от бытия к небытию, а застревание в предбаннике, где с тебя сдирают всё живое, но не дают уйти. Ногти на его пальцах начали желтеть и крошиться у основания, как пересохшая шпаклёвка, и под ними обнажилось мясо — неестественно бледное, почти серое, похожее на сырой куриный фарш. Десны побледнели и начали отступать от зубов, обнажая корни, покрытые мягким, коричневатым налётом, — и зубы стали шататься, двигаясь в лунках с тихим скрежетом, который слышал только он сам. Его глаза сохли, потому что веки забывали моргать, а слёзные протоки забивались какой-то зернистой массой, похожей на мокрый гипс.

Но самое страшное происходило внутри. Виталий забывал самого себя. Его имя — Виталий, Виталик — превратилось в пустой, бессмысленный набор звуков. Память о дочери, которую он любил больше всего на свете, но которую бросил ради пива и телевизора, исказилась и заменилась памятью о чужом сыне-дальнобойщике, о его грубом голосе в телефонной трубке, о том, как он сказал: «Мам, я в рейсе, позже наберу», — и не набрал. Виталий чувствовал, как в грудной клетке, где когда-то жила его собственная, пусть и маленькая, душа, теперь разрастается клубок чужой, невыносимой боли — боли пожилой женщины, ждущей звонка, который никогда не раздастся. Боль была настолько острой и всепоглощающей, что Виталий заскулил — тихо, по-собачьи, — и из его рта выпали два передних зуба, стукнувшись об пол со звуком, будто уронили пластмассовые пуговицы. Он попытался поднять их, но пальцы не слушались — они скрючились в подагрические крючья.

Алевтина Игнатьевна, натолкнувшись на его сознание, как рыба на крючок, усилила Шепот. Её история текла рекой: первая любовь, запах ландышей — нежный, почти невесомый, — мальчик Витя, который украл их для неё в соседском палисаднике, их первый танец в сельском клубе, дрожащий свет керосиновой лампы на стене, вкус чёрного хлеба с постным маслом и крупной солью в голодные послевоенные годы, роды — дикая, животная боль в крестце, которую она терпела молча, вцепившись зубами в подушку, потому что рожала вне брака и стыдилась кричать, — и лицо сына, мокрое, сморщенное личико с прилипшими тёмными волосиками, которое она целовала в темечко, пахнущее молоком, кровью и чем-то невыразимо родным. Всё это вливалось в Виталия, как расплавленный свинец в форму, выжигая его собственное «я». Его жизнь — купленный в переходе диплом, свадьба под морозящим дождём, первые шаги дочери в смешных розовых пинетках, крики жены, звон разбитой посуды, одинокая квартира с вечно орущим телевизором — всё это гасло, как лампочки в гирлянде, когда одну из них выкручивают.

К тому моменту, когда история Алевтины дошла до момента её смерти — момента тотального, космического одиночества, — тело Виталия представляло собой жалкое зрелище. Его лицо приобрело пепельно-серый оттенок несвежего фарша, который уже начал заветриваться по краям и подёрнулся тонкой, блестящей плёнкой. Позвоночник искривился, заставляя принять позу эмбриона. От него пахло старостью — тем особым, затхлым запахом залежавшейся пыли, высохшей мочи и слежавшихся перьев из подушки. А в его мозгу теперь царил

Алевтина, которая плакала не своими слезами, а влагой, взятой из разжижающегося стекло-видного тела его глаз.

Когда Рассказ достиг кульминации, тело Алевтины начало меняться. Её кожа, истончившаяся до состояния папиросной бумаги, лопнула сразу в нескольких местах, и из разрывов выплеснулась чёрная, зернистая жидкость, похожая на кофе, которыйпил Виталий целую вечность назад. Её пальцы осыпались на пол, как корки засохшей грязи, и костяшки запрыгали по кафелю, издавая звук, похожий на кастаньеты. Её лицо осветилось изнутри мягким, неземным светом — не светом в привычном смысле, а, скорее, отсутствием тьмы, — и она улыбнулась. Губы, съёжившиеся и потрескавшиеся, растянулись в последней, блаженной улыбке, обнажая дёсны, которые продолжали разлагаться даже сейчас, сползая с челюстной кости, как мокрые обои со стены. Через секунду она превратилась в невысокий холмик серого, жирного на ощупь пепла, над которым ещё несколько мгновений витал запах фрезий и старой папиросной бумаги.

А Виталий остался. Его рот безостановочно шевелился, выталкивая наружу тот же самый Шепот. Губы повторяли рассказ об одуванчиках и ландышах, а к нему примешивались обрывки его собственного украденного прошлого. Он медленно, шаркающей походкой — шарк, шарк, пауза, — повернулся и пошёл по коридору ночной больницы. Его силуэт в проёме двери был похож на сломанную марионетку, которую дёргают за невидимые нити. Проходя мимо палаты с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, он не нападал — он остановился в дверях и начал шептать. Одна из медсестёр зажала уши руками и побежала прочь, но Шепот просачивался сквозь пальцы, сквозь кости, прямо в ту часть души, которая отвечает за страх одиночества. Приборы сбились с ритма, и один за другим начали пищать мониторы — пациенты умирали, не от сердца, а от того, что их души покидали тела, не выдержав вторжения.

Новости ввали. Они говорили о мутировавшем бешенстве, о террористах с психотропным газом. Обыватели запасались марлей и консервами, как будто марля может остановить то, что передаётся через пустоту в сердце. Но мы, патологоанатомы, знали правду. Мы видели её каждый день, режа серую, резиновую плоть и находя внутри не гнилые органы, а какую-то труху, перемолотые изнутри останки человеческой личности.

Я помню вскрытие одного ребёнка на третьей неделе. Девочка Аня, девять лет, умерла от лейкоза. Её родители так боялись вида болезни, что наняли сиделку и приезжали раз в месяц — делать селфи для соцсетей с хэштегом #болезньотступит. Аня умерла ночью, одна, вцепившись в плюшевого зайца с оторванным ухом, глядя в потолок. Через двадцать часов она поднялась и пошла по коридору, волоча за собой капельницу, из которой ещё сочился физраствор. Её лицо было белым, как мука, смешанная с молоком, а вены просвечивали сквозь кожу тонкой, голубой паутиной. Она открывала рот, и оттуда вырывался звук, похожий на ветер в пустой бутылке, — а потом вдруг произнесла: «Мама». Одно слово, но оно ударило по нервам оказавшегося рядом санитаря, как разряд тока. Двадцатилетний стаж, сотни трупов — а он упал на колени и зарыдал. И пока рыдал — слушал. Аня шептала ему, как ждала маму, как считала секунды, как зачёркивала дни на календаре с котятами, а мама не приезжала. Через час санитаря нашли мёртвым, скорчившимся на полу, в луже желтоватой жидкости, пахнущей детской присыпкой и лизолом. А Аня стояла рядом и гладила его по лысеющей голове костлявой, почти прозрачной ручкой, и губы её всё ещё беззвучно звали маму.

Эти существа питались не плотью — вниманием. Убить их можно было, только не замечая. Но как не заметить покойную мать, стоящую у кровати и нашёптывающую колыбельную, которую ты не слышал тридцать лет? Как не заметить деда, который учил тебя кататься на велосипеде, а теперь стоит в углу гаража, привалившись к верстаку, и его отпавшая челюсть лежит в ящике с гвоздями, но голос — о, его голос — всё равно звучит у тебя в голове? Как не заметить жену, умершую при родах, которая теперь каждую ночь сидит в кресле-качалке в детской, баюкая пустоту на руках, и из её сосков сочится не молоко, а бурая, свернувшаяся жидкость?

Тишина стала нашим единственным оружием. Мы затыкали уши воском, берушами, строительными наушниками, включали белый шум на полную громкость — бесполезно. Шепот прорастал внутри, как плесень на хлебе: ты мог не слышать слов, но ты чувствовал их вкус. Достаточно было мельком увидеть тень в коридоре, морщинистую руку на подоконнике, почувствовать запах фрезий или старого табака, — и Шепот начинал транслироваться напрямую в костный мозг. Стоило распознать одно слово, одно проклятое слово, — и ты пропал. Ты начинал слушать. А слушать — значило умирать в вечность.

В моей квартире на шестом этаже старой хрущёвки, куда я забаррикадировался, когда всё рухнуло, тишина стала физической величиной. Она давила на перепонки, вызывая фантомный звон. Я залил воском замочные скважины, обил двери войлоком, заклеил щели монтажной пеной. Но каждую ночь, ровно в то время, когда я обычно наливал себе вечерний чай — привычка, от которой я не мог отказаться даже в аду, — я слышал шаги на лестничной клетке: шарк-шарк-пауза, шарк-шарк-пауза. Это дядя Коля, сосед с первого этажа, умерший от цирроза за месяц до событий. Его скелет, обтянутый желтушной, пергаментной кожей, облачённый в засаленный спортивный костюм с вытянутыми коленями, бродил по подъезду. Вся его семья отказалась от него ещё при жизни, и теперь, после смерти, его голод на внимание стал бездонным, как колодец.

Я слышу, как он останавливается у моей двери. Из-за войлока и металла доносится слабая вибрация: он прижался лицом к двери. Его лоб, холодный и липкий, как кожа дохлой рыбы, прижат к дверному глазку. Если я загляну, то увижу огромный, увеличенный линзой жёлтый белок с чёрной точкой зрачка, в центре которой копошатся крошечные, белые извивающиеся волоконца. Но я не подхожу. Я сижу на диване, сжавшись в комок, и смотрю на дверь, не мигая, пока глаза не начинают слезиться и гореть.

А он шепчет. Его Шепот просачивается сквозь бетон и сталь, как вода точит камень. Он рассказывает, как впервые попробовал портвейн в пятнадцать лет, на пустыре за школой, — сладко, приторно, тошнотворно. Как его рвало в кустах сирени, и рвотные массы были розовыми от дешёвого вина. Как сын, маленький Вовка, прятал бутылки под диван, а он их находил и бил сына по лицу. Как жена кричала и плакала, а он потом плакал от стыда, стоя на коленях на грязной кухне, и просил прощения — но наутро всё повторялось. Он рассказывает, как его выкинули из дома, и он замёрз на лавочке в парке, мечтая о стакане, и последней его мыслью было: «Никому я не нужен». Ему не нужна моя жалость. Ему нужно выгрузить этот гниющий груз в мою голову, чтобы его собственная оболочка наконец рассыпалась.

И я чувствую, как яд его Шепота действует сквозь преграду. Десны зудят — не просто чешутся, а зудят так, что хочется разодрать их ногтями до кости. Между зубов появляется сладковатый привкус — как от подгнившего яблочного повидла. Это гниёт моя слюна. Волосы становятся сухими и ломкими, и когда я провожу по ним рукой, целые пряди остаются в пальцах, похожие на паклю. Суставы ноют, как у столетнего старика, и я знаю, что ещё немного — и я подойду к двери, прильну ухом к холодному металлу и скажу: «Давай, рассказывай. Расскажи про сирень, про то, как ты плакал, про Вовку. Я слушаю».

В этом и есть самая утончённая, самая извращённая пытка. Они не убивают — они трансформируют. В мире, где каждый до дрожи боится умереть в одиночестве, настоящим кошмаром становится невозможность умереть, пока тебя не заметят. И самое чудовищное: я сам — потенциальный Шептун. Я ловил себя на мысли, что когда закончится еда и вода — а они закончатся, банка тушёнки уже пуста, и кран сухо шипит, — я могу просто перестать сопротивляться. Открыть дверь. Впустить дядю Колю. Позволить ему дошептать свою грязную, горькую жизнь мне в левое ухо. Моё тело станет мешком с гнильём, но сознание — сознание застрянет в нём, как оса в варенье. И тогда я пойду бродить по лестницам, по пустым дворам, заглядывая в окна, и буду стоять у чужих дверей, рассказывая, как я пишу эти строки, как дрожат мои пальцы на клавиатуре, как ноют суставы и зудят дёсны, как страшно мне сейчас в этой тишине.

И буду молить, чтобы кто-то — хоть одна живая душа — приложил ухо к замочной скважине и выслушал меня. Выслушал — и забрал себе мой ужас, мою боль, моё разложение.

Потому что в мире Гнилого Шепотка нет ничего ценнее — и ничего опаснее — чем чужое внимание. Оно стало валютой, оружием и проклятием, от которого нельзя укрыться даже в смерти. И когда последняя свеча догорит и останется только крошечная тьма, единственное, что будет наполнять комнату, — это Шепот. Мой собственный Шепот, пока ещё сдерживаемый, но с каждым часом, каждой минутой, каждой секундой становящийся громче. Однажды он вырвется. И тогда — заходите. Присаживайтесь. Я расскажу вам сказку. Длинную, очень длинную сказку. Я расскажу вам всё, с самого начала: про луг с одуванчиками, про запах ландышей, про мальчика Витю, про женщину у окна, про девочку с зайцем без уха, про дядю Колю с его портвейном и про вас. Да-да, я расскажу про вас — потому что вы уже слушаете. Я знаю, что вы слушаете. Я чувствую, как ваши глаза бегут по этим строкам, и с каждым словом вы становитесь чуть ближе к тому, чтобы понять: вы не одни в этой комнате. Кто-то стоит за вашим плечом. Не оборачивайтесь. Просто слушайте. Просто слушай-те.

## ПИРОГ С ПОГОСТА

Зима в тот год пришла не сразу. Сперва умерла земля. Скукожилась, пошла трещинами, покрылась серой коркой инея раньше срока. В деревне Чернобровки, что жалась к кромке гнилого леса, хлеб не уродился вовсе. Колосья вышли пустыми, трухлявыми, рассыпались в пальцах, как прах. К Покрову съели последних тощих кур. К Рождественскому посту разварили ремни и жевали сосновую кору, от которой пухли и кровоточили десны. Дети ходили с прозрачными лицами, старики засыпали и не просыпались. Смерть висела в воздухе густым запахом сырой золы и лежалого тряпья.

Ульяна, хозяйка постоянного двора на тракте, держалась дольше прочих. Двор её стоял на отшибе, у перекрестка двух заросших дорог, и раньше кормился редкими купеческими обозами. Теперь же тракт опустел. Никто не ехал. Никто не шел. Только ветер носил по двору колючую снежную крупу, да в печной трубе выл голодный зверь. Ульяна была женщиной тридцати семи зим — широкая в кости, с руками, привыкшими и тесто месить, и курице голову сворачивать. Лицо имела тяжелое, с рыхлыми щеками и маленьким ртом, который почти никогда не улыбался. Глаза у неё были светлые, как вода в проруби, и столь же холодные.

Муж её, Еремей, трактирщик, человек смиренный и вялый, давно уже не вставал с лавки. Голод превратил его в тень. Он лежал в углу общей залы, завернувшись в овчину, и смотрел в потолок запавшими глазами. Иногда плакал — тихо, беззвучно, одними слезами. Когда-то голос у него был зычный, он им пьяниц разнимал. Теперь же из глотки вырывался только сип. Возможно, он уже умирал. Ульяна на мужа почти не глядела. Не из жестокости, а из брезгливости. Слабый мужчина в голодный год — обуза. Лишний рот. Дармоед, жрущий пустую похлебку, которую можно было бы отдать детям. Детей у них, слава Богу, не случилось. Вернее, они рождались, но не задерживались. Трех Ульяна схоронила в младенчестве, всех — девочек. Священник тогда сказал что-то про Божью волю, но Ульяна знала: Бог тут ни при чем. Просто кровь у неё горячая, тяжелая, непригодная для вынашивания. Так она сама для себя решила.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.